

М.Е. Салтыков-Щедрин

**За рубежом. Письма к
тетеньке**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
С16

С16 **Салтыков-Щедрин М.Е.**
За рубежом. Письма к тетеньке / М.Е. Салтыков-Щедрин – М.: Книга по Тре-
бованию, 2021. – 522 с.

ISBN 978-5-4241-0673-6

ISBN 978-5-4241-0673-6

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

гое. Быть может, там, в родных лесах, он был исправником, а может быть, даже министром. В первом случае он предупреждал и пресекал; во втором — принимал в назначенные часы доклады о предупреждении и пресечении. Без сомнения, это были доклады не особенно мудрые, но ведь для чимпандзе, по части мудрости, не особенно много и требуется. И вот, теперь он умирает, не понимая, **зачем** понадобилось оторвать его от дорогих сердцу интересов родины и посадить за решеткой в берлинском зоологическом саду. Умирает в горьком сознании, что ему не позволили даже подать прошения об отставке (просто поймали, посадили в клетку и увезли), и вследствие этого там, на родине, за ним числится тридцать тысяч неисполненных начальственных предписаний и девяносто тысяч (по числу населяющих его округ чимпандзе) произведенных обысков! Не знаю, как подействует это скорбное зрелище на вас, читатель, но на меня оно произвело поистине удручающее впечатление.

Во-вторых, мне кажется, что люди науки, осуждающие своих клиентов выдерживать курсы лечения, упускают из вида, что эти курсы влекут за собой обязательное цыганское житье, среди беспорядка, в тесноте, вне возможности отыскать хоть минуту укромного и самостоятельного существования. Из привычной атмосферы, в которой вы так или иначе обдержались, вас насильственно переносят в атмосферу чуждую, насыщенную иными нравами, иными привычками, иным говором и даже иным разумом. Перед глазами у вас снует взад и вперед пестрая толпа; в ушах гудит разноязычный говор, и все это сопровождается таким однообразием форм (вечный праздник со стороны наезжих, и вечная лакейская беготня — со стороны туземцев), что под конец утрачивается даже ясное сознание времен дня. Это однообразие маятного движения досажда-ет, волнует, вызывает ежеминутный ропот. Нет ничего изнурительнее, как не понимать и не быть понимаемым. Я говорю это не в смысле разности в языке — для культурного человека это неудобство легко устранимое, — но трудно, почти невыносимо в молчании снестись боль сердца, ту щемящую боль, которая зародилась где-нибудь на берегах Иловли и по пятам пришла за вами к самой подошве Мальберга¹. Там, в долине Иловли, эта боль напоминала вам о живучести в вас человеческого естества; здесь, в долине Лана, она ровно ни о чем не напоминает, ибо ее давно уже пережили (может быть, за несколько поколений назад), да и на бобах развели. Мало того, эта боль

¹ Гора, командующая над Бад-Эмсом (Прим М Е Салтыкова-Щедрина)

становится признаком неблаговоспитанности с вашей стороны, потому что неприлично вздыхать и роптать среди людей, которым, в качестве восстанавливающего средства, прописано непрерывное душевное спокойствие. Не ясно ли, что те катаральные улучшения, которые достигаются глотанием и выдыханием подлежащих щелочей, должны в значительной мере ослабляться полным отсутствием условий, составляющих обычную принадлежность той жизни, с которой вы, по крайней мере, лично привыкли соединять представление об оседлости.

В-третьих, наконец, культ самосохранения включает в себе нечто, свидетельствующее не только о чрезмерном, но, быть может, и о незаслуженном животолубии. Русская пословица гласит так: «жить живи, однако и честь знай». И заметьте, что, как все народные пословицы, она имеет в виду не празднотлюбца, а человека, до истощения сил тянувшего выпавшее на его долю жизненное тягло. Если даже ему, истомленному человеку тягла, надо «честь знать», то что же сказать о празднотлюбце, о бонапартисте, у которого ни назади, ни впереди нет ничего, кроме умственного и нравственного декольте? Клянусь, надо знать честь, господа! Подумайте! миллионы людей изнемогают, прикованные к земле и к труду, не справляясь ни о почках, ни о легких и зная только одно: что они повинны работе,—и вдруг из этого беспредельного кабального моря выделяется горсть празднотлюбцев, которые самовластно декретируют, что для кого-то и для чего-то нужно, чтоб почки действовали у них в исправности! Ах, господá, господá!

Все это я отлично понимал, и все эти возражения были у меня на языке прошлой весной, когда решался вопрос о доставлении мне возможности прожить «аридовы веки». Но — странное дело! — когда люди науки высказались в том смысле, что я месяца на три обязываюсь позабыть прошлое, настоящее и будущее, для того чтоб всецело посвятить себя нагуливанию жпвотов, то я не только ничего не возразил, но сделал вид, что много доволен. Я знал, что, ради восстановления сил, я должен буду растратить свои последние силы,—и промолчал. Я очень хорошо провидел, что процесс самосохранения окончательно разорит мой и без того разоренный организм,—и сказал: помилуйте! куда угодно, хоть в тартарары! Я — человек дисциплины по преимуществу и твердо верую, что всякое «распоряжение» клонится к моему благу.

Словом сказать, я сел в вагон и поехал.

Но так как факт совершился, и нелегкая принесла уже меня на берега вонючего Лана, то я считаю себя вправе поделиться с читателями вынесенными мною впечатлениями. Пишу не для дамочек и не для бонапартистов, а для тех, кои, сидя на бере-

гах Лопани, Вороны и Хопра, не ослабляючи вздыхают над вопросами об акклиматизации саранчи, колорадского жучка и гессенской мухи. Пусть дойдет до них мой голос и скажет им, что даже здесь, в виду башни, в которой, по преданию, Карл Великий замуровал свою дочь (здесь все башни таковы, что в каждой кто-нибудь кого-нибудь замучил или убил, а у нас башен нет), ни на минуту не покидало меня представление о саранче, опустошившей благословенные чембарские пажити. И пусть засвидетельствует этот голос, что, покуда человек не развяжется с представлением о саранче и других расхитителях народного достояния, до тех пор никакие Kraenchen и Kesselgippen «аридовых веков» ему не дадут.

Но если бы и действительно глогание Kraenchen, в соединении с ослиным молоком, способно было дать бессмертие, то и такая перспектива едва ли бы соблазнила меня. Во-первых, мне кажется, что бессмертие, посвященное непрерывному наблюдению, дабы в организме не переставаячи совершался обмен веществ, было бы отчасти дурацкое; а во-вторых, я настолько совестлив, что не могу воздержаться, чтоб не спросить себя: ежели все мы, культурные люди, сделаемся бессмертными, то при чем же останутся попы и гробовщики?

В заключение настоящего введения, еще одно слово. Выражение «бонапартисты», с которым читателю не раз придется встретиться в подлежащих эскизах, отнюдь не следует понимать буквально. Под «бонапартистом» я разумею вообще всякого, кто смешивает выражение «отечество» с выражением «ваше превосходительство» и даже отдает предпочтение последнему перед первым. Таких людей во всех странах множество, а у нас до того довольно, что хоть лопатами огребай.

В одно прекрасное утро, часов около одиннадцати, всех нас, «отпущенных по пачпорту», в Вержболове обыскали и, по сделании надлежащих отметок, переправили, как в старину певалось, «в гости в братьям пруссакам». Но нынешние братья пруссаки уж не те, что прежде были, и приняли нас не как «гостей», а как данников. Прежде всего они удостоверились, что у нас нет ни чумы, ни иных телесных озлоблений (за это удостоверение нас заставляют уплачивать в петербургском германском консульстве по 75 копеек с паспорта, чем крайне оскорбляются выезжающие из России иностранцы, а нам оскорбляться не представлено), а потом сказали милостивое слово: der Kurs 213 pf., то есть русский рубль с лишком на марку стоит дешевле против нормальной цены. В заключение, обыскав наши багажи (весьма, впрочем, деликатно) и удосто-

верившись по нашим простодушным физиономиям, что отныне все марки и пфенниги, сколько бы таковых у нас ни оказалось, мы не токмо за страх, но и за совесть обязываемся сполна расходовать на пользу германского отечества, объявили нас от митирогнозии свободными.

Странное дело! покуда мы пробирались к Вержболову (немцы уж называют его Wirballen), никому из нас не приходило в голову выглядывать в окна и любопытствовать, какой из них открывается пейзаж. Как-то самой собой предполагалось, что все известно и переизвестно. «Мокрое место, по которому растет ненастоящий лес» — вот картина, которую ожидал встретить взор и во избежание которой всякий старался убить время независимо от впечатлений родной природы. Одни, не разгибая спины, «впнтили». Другие во всеуслышание роптали, что никакой «заграницы» не нужно и что всю эту «заграницу» выдумали их дамочки, которые, под предлогом исправления супружеских почек и легких, собрались ловить по курзам бонапартистов всех наименований. Третьи всеминутно тосковали, «каким-то нас курсом батюшка-Берлин наградит».

— Кажется, мы нынче смирно сидим... Ни румынов, ни греков, ни сербов, ни болгар — ничего за нами нет! Пора бы уж и нам милостивое слово сказать! — слышалось в одном углу.

— Ну, батенька, и за саранчу тоже не похвалят! — где-то по соседству раздавалось в ответ.

Даже два старца (с претензией на государственность), ехавшие вместе с нами, — и те не интересовались своим отечеством, но считали его лишь местом для получения присвоенных по штатам окладов. По-видимому, они ничего не ждали, ни на что не роптали и даже ничего не мыслили, но в государственном безмолвии сидели друг против друга, спесиво хлопая глазами на прочих пассажиров и как бы говоря: мы на счет казны нагуливать животы едем!

Живя в Петербурге, я знал об этих старцах по слухам, но эти слухи имели такой определенный характер, что, признаюсь, до самого Эйдткунена я с величайшим беспокойством взирал на них. Я так и ждал, что они вынут казенные подорожные и скажут: а нуте, предъявляйте свои сердца! И тогда прощай, Эмс, прощайте, Баден-Баден, Интерлакен, Париж! Один был малого роста, сложен кряжем и назывался по фамилии Дыба; другой был длинен, сухощав, взвивался и сокращался, словно змей, и назывался по фамилии Удав. Оба состояли в чине бесшабашного советника, и у каждого было по трещине вдоль черепа. Один прошел школу графа Михаила Николаевича в качестве чиновника для преступлений; другой прошел

школу графа Алексея Андреевича в качестве чиновника для чтения в сердцах. Оба служат представителями новой департаментско-курьерской аристократии. У одного в гербе была изображена, в червленом поле, рука, держащая серебряную урну с надписью: *не пролей!* у другого — на серебряном поле — рука, держащая золотую урну с надписью: *содержи в опрятности!* Из чего дозволялось заключать, что оба происходят не от Рюрика. Оба в юных летах думали скончать жизнь в столоначальнических должностях, но, благодаря беззаветной свирепости при исполнении начальственных предписаний, были замечены, понравились и удостоены повышения в чинах и должностях. И, в довершение всего, у обоих, по смерти, вместо монументов будет воткнуто на могилах по осиновому колу. Спрашивается: в виду столь жестоковейных идолов можно ли было не трепетать, пока Эйджунен не предстал перед нами в качестве несомненной действительности?

И в самом деле, в Эйджунене картина изменилась, как бы волшебством. Винтившие бросили русские карты и на первых порах как бы совестились продолжать винт в немецком вагоне. Пассажиры, роптавшие на жен, смирились, а те, которые ожидали милости от «батюшки-Берлина», прочитавши: *der Kurs 213*, окончательно убедились, что за саранчу не похвалят. Что же касается до государственных старцев, то я просто их не узнал. Как только с них сняли в Эйджунене чины, так они тотчас же отлучились и, выпустив угнетавшую их государственность, всем без разбора начали подмигивать. И шафнеру немецкого вагона, и француженке, ехавшей в Париж за товаром, и даже мне. И всем, казалось, говорили: не тапте помышлений ваших, ибо нынче у нас в Петербурге... вольно!

И вот едва мы разместились в новом вагоне (мне пришлось сесть в одном спальном отделении с бесшабашными советниками), как тотчас же бросились к окнам и начали смотреть.

Природа, которая открывалась перед нами, мало чем отличалась от только что оставленной мною природы русско-чухонского поморья, в песках которого ютилось знакомое читателю Монрепо. Та же низменная равнина, те же рудо-желтые пески, попеременно с торфяными низинками. Но ни кочкарника, ни мхов, ни лезущего отовсюду лозняка, ни еле дышащей, одиноко стоящей и во все стороны гнущейся березки — и в помине нет. И справа и слева тянутся засеянные поля, к которым гораздо более идет эпитет «необозримых», нежели, например, к полям Тверской или Ярославской губерний и вообще средней полосы России. Я видал такие обширные полевые пространства в южной половине Пензенской губернии, но, под опасением возбудить в читателе недоверие, утверждаю, что репу-

тация производства так называемых «буйных» хлебов гораздо с большим правом может быть применена к обиженному природой прусскому поморью, нежели к чембарским благословенным пажитям, где, как рассказывают, глубина черноземного слоя достигает двух аршин. В Чембаре так долго и легкомысленно рассчитывали на бесконечную способность почвы производить «буйные» хлеба, что и не видали, как поля выпахались и хлеба присмирели. Здесь же, очевидно, ни на какие великие и богатые милости не рассчитывали, а, напротив, и денно и нощно только одну думу думали: как бы среди песков да болот с голоду не подохнуть. В Чембаре говорили: а в случае ежели бог дожжичка не пошлет, так нам, братцы, и помирать не в диковину! а в Эйдткунене говорили: там как будет угодно насчет дожжичка распорядиться, а мы помирать не согласны!

Почему на берегах Вороны говорили одно, а на берегах Прегеля другое — это я решить не берусь, но положительно утверждаю, что никогда в чембарских палестинах я не видал таких «буйных» хлебов, какие мне удалось видеть нынешним летом между Вержболовом и Кёнигсбергом, и в особенности дальше, к Эльбину. Это было до такой степени неожиданно (мы все заранее зарядились мыслью, что у немца хоть шаром покати и что без нашего хлеба немец подохнет), что некто из ехавших рискнул даже заметить:

— Вот увидите, что скоро отсюда к нам хлеб возить станут!

На что другой ехавший патристически-задумчиво пробормотал:

— Ну, это уж, кажется, не тово... Этак, брат колбаса, ты, пожалуй, и вовсе нас в полон заберешь!

Но этого мало, что хлеба у немца на песках родятся буйные, у него и коровам не житье, а рай, благодаря изобилию лугов. При тех же самых условиях (тот же торф) выйдешь, бывало, в Монрепò посмотреть, как оно там произрастает, — и разом делается как-то нестерпимо скучно. Кажется, все было сделано: и канавы в прошлом году по осени чистили, и золото из Кронштадта целую зиму возили и по полянкам разбрасывали, а все проку нет. Куда ни глянешь — либо мох сплошной, либо какая-то бурая болячка, либо целая щетка молоденьких березок выскочила, и только где-где занялась настоящая трава. Ну, разумеется, сейчас следствие.

— Иван! да точно ли вы золото из Кронштадта здесь валили?

— Помилуйте! вот и бумажки-с!

— Ну, стало быть, канавы осенью не прочистили как следует?

— И канавы нельзя лучше чистили, только в них вода, вишь, стойт...

— Отчего ж она не стекает?

— Да стёку ей нет — оттого. Еще спервоначалу Иван Павлыч (прежний вотчинник), как только эти самые луга затеял — все стёку искал. Сыщет, ан на следующую вёсну его песком затынет — давай песок разгребать. До воли мужик-от дешёв был, разгребут стек, канавы наново вычистят, — трава-то и уродится; а как подошла воля, разгребать-то и нёкем стало. По канавкам лозняк пошел, по полянкам мох выскочил, затыгивает каждый год, да и шабаш. Ну, Иван Павлыч-то видит, что ежели тут хозяйствовать, так последние штаны с себя снять придется, — осердился, плюнул и продал всю палестину. «Пропадайте, говорит, вы пропадом, а я на теплые воды ездить стану!»

И точно, как ни безнадежно заключение Ивана Павлыча, но нельзя не согласиться, что ездить на теплые воды все-таки удобнее, нежели пропадать пропадом в Петергофском уезде. Есть люди, у которых так и в гербах значится: пропадайте вы пропадом — пускай они и пропадают. А нам с Иваном Павлычем это не с руки. Мы лучше в Эмс поедем да легкие пообчистим, а на зиму опять вернемся в отечество: неужто, мол, петергофские-то еще не пропали?

— Послушай, однако ж, Иван! как же мужики-то? у них ведь надел .. обеспечение, братец, ведь это! Неужто ж и они стёку не могут сыскать?

— И мужики тоже бьются. Никто здесь на землю не надеется, все от нее бегут да около коё-чего побираются. Вон она, мельница-то наша, который уж месяц пустая стоит! Кругом на двадцать верст другой мельницы нет, а для нашей вряд до Филиппова заговенья помолу достанет. Вот хлеба-то здесь каковы!

Таковы порядки в Монрепё. А здесь, под Инстербургом, сумели и стёк отыскать, и луга расчистить, и коровье житье устроить. Везде канавы чистые, без лозняка, и везде вынутый из канав торф сформован и сложен в стóпки. Этим торфом и отапливаются, и сдобривают поля. Даже лес — и тот совсем не так безнадежно здесь смотрит, как привыкли думать мы, отапливающие кизяком и гречневой шелухой наши жилища на берегах Лопани и Ворсклы. С чего-то мы вообразили себе (должно быть, Печорские леса слишком часто нам во сне снятся), что как только перевалишь за Вержболово, так тотчас же представится глазам голое пространство, лишенное всякой лесной растительности. «Кабы не мы, немцу протопиться бы нёчем» — эта фраза пользуется у нас почти такую же популяр-

ностью, как и та, которая удостоверяет, что без нашего хлеба немцу пришлось бы с голоду подохнуть. В действительности же все горы Германии покрыты отличным лесом, да и в Балтийском поморье недостатка в нем нет. Вот под Москвой, так точно что нет лесов, и та цена, которую здесь, в виду Куришгафа, платят за дрова (до 28 марок за клафтер, около 1½ саж. нашего швырка), была бы для Москвы истинной благодатью, а для берегов Лопани, пожалуй, даже баснословием. И заметьте, что если цена на топливо здесь все-таки достаточно высока, то это только потому, что Германия вообще скупа на те произведения природы, которые возобновляются лишь в продолжительный период времени. А припустите-ка сюда похозяйничать русского лесничего с двумя-тремя русскими лесопромышленниками — они разом все рынки запрудят такой массой дров, что последние немедленно подешевеют наполовину...

Мне скажут, может быть, что прусское правительство истари производило в восточной Пруссии опыты разработки земли в обширных размерах и тратило на это громадные суммы без всякой надежды на их возврат... Что ж! против этого я, конечно, ничего возразить не имею.

Между тем наш поезд на всех парах неся к Кёнигсбергу; в глазах мелькали разноцветные поля, луга, леса и деревни. Физиономия крестьянского двора тоже значительно видоизменилась против довержботовской. Изба с выбеленными стенами и черепичной крышей глядела веселее, довольнее, нежели довержболовский почерневший сруб с всклокоченной соломенной крышей. Это было *жилище*, а не изба в той форме, в какой мы, русские, привыкли себе ее представлять.

Я смотрел вместе с прочими на эту картину и невольно задумывался. Я не скажу, чтоб сравнения, которые при этом сами собой возникали, были обидны для моего самолюбия (у меня на этот случай есть в запасе прекрасная поговорка: моя изба с краю), но не могу скрыть, что чувствовалась какая-то непобедимая неловкость. Передо мной воочию метался тот «повинный работе» человек, который, выбиваясь из сил, надрываясь и проливая кровавый пот, в награду за свою вечную страду получит кусок мякинного хлеба. Есть что-то мучительно загадочное в этом сопоставлении мякинного хлеба и вечной страды. Каким образом выработалось это сопоставление, и почему оно вылилось в такую неподвижную форму, что скорее можно разбить себе лоб, чем видоизменить ее? Ужели на этот вопрос никогда не будет другого ответа, кроме: не твое дело?

Пусть читатель не думает, однако ж, что я считаю прусские порядки совершенными и прусского человека счастливейшим

из смертных. Я очень хорошо понимаю, что среди этих отлично возделанных полей речь идет совсем не о распределении богатств, а исключительно о накоплении их; что эти поля, луга и выбеленные жилища принадлежат таким же толстосумам-буржуа, каким в городах принадлежат дома и лавки, и что за каждым из этих толстосумов стоят десятки кнехтов, в пользу которых выпадает очень ограниченная часть этого красивого довольства.

Я нимало не сомневаюсь, что в звании кнехта очень малолестного, но разве кнехты рождаются, только начиная с Эйдткунена? разве политико-экономические основания, которые практикуются под Инстербургом, не совершенно равносильны тем, которые практикуются и под Петергофом? Увы! я совершенно искренно убежден, что в этом отношении обе местности могут аттестовать себя равно способными и достойными и что инстербургский толстосум едва ли даже не менее жаден, нежели, например, купец Колупаев, который разостлал паутину кругом Монрепо. Я знаю, что многие думают так: мы бедны, но зато у нас на первом плане распределение богатств; однако ж, по мнению моему, это только одни слова. Поверьте, что в Петергофском уезде распределение богатств гораздо в большей степени зависит от господина Колупаева, нежели в Инстербургском уезде от господина Гехта (Hecht — шука). И я убежден, что если бы Колупаеву даже во сне приснилось распределение, то он скорее сам на себя донес бы исправнику, нежели допустил бы подобную пропаганду на практике. Стало быть, никакого «распределения богатств» у нас нет, да, сверх того, нет и накопления богатств. А есть простое и наглое расхищение.

И еще говорят: в России не может быть пролетариата, ибо у нас каждый бедняк есть член общины и наделен участком земли. Но говорящие таким образом прежде всего забывают, что существует громадная масса мещан, которая истари не имеет иных средств существования, кроме личного труда, и что с упразднением крепостного права к мещанам присоединилась еще целая масса бывших дворовых людей, которые еще менее обеспечены, нежели мещане. А кроме того, забывают еще и то, что около каждого «обеспеченного наделом» высочил Колупаев, который высоко держит знамя кровопивства, и ежели не зовет еще «обеспеченных» кнехтами, то уже довольно откровенно отзываясь об мужике, что «в ём только тогда и прок будет, коли ежели его с утра до ночи на работе морить».

Вместо того чтоб уверять все, что вопрос о распределении уже разрешен нами на практике, мне кажется, приличнее было

бы взглянуть в глаза Колупаевым и Разуваевым и разоблачить детали того кровопивственного процесса, которому они предаются без всякой опаски, при свете дня. Сиг? quomodo? ¹ и в особенности — quibus auxiliis? ² Вот, если это quibus auxiliis как следует выяснить, тогда сам собою разрешится и другой вопрос: что такое современная русская община и кого она на-ипаче обеспечивает, общинников или Колупаевых?

А то выдумали: не́чего нам у немцев заимствоваться; поку-да-де они над «накоплением» корпят, мы, того гляди, и политическую-то экономию совсем упраздним. Так и упразднили... упразднители! Вот ужё прослышит об вашем самохвальстве купец Колупаев, да quibus auxiliis и спросит: а знаете ли вы, ребята, как Кузькину сестрицу зовут? И придется вам на этот вопрос по сущей совести ответ держать.

Вообще я полагаю, что у нас практически заниматься вопросом о «распределении богатств» могут только Политковские да Юханцевы. Эти не поцеремонятся: придут, распределят, и никто их ни потрясателями основ, ни сеятелями превратных толкований не назовет, потому что они воры, а не сеятели. Да и теоретически заняться этим вопросом, то есть разговаривать или писать об нем, — тоже дело неподходящее, потому что для этого нужно выполнить множество подготовительных работ по вопросам о Кузькиной сестре, о бараньем роге, о Макаре, телят не гоняющем, об истинном значении слова «фюить» и т. п. Спрашивается. много ли найдется людей, которым такой труд по силам? Напротив того, в Инстербурге подготовительные работы этого рода уже упразднены, так что теоретической разработкой вопроса о распределении можно заниматься и без них. Ибо это вопрос человеческий, а здесь с давних пор повелось, что человеку о всех, до человека относящихся вопросах, и говорить, и рассуждать, и писать свойственно. У нас же свойственно говорить, рассуждать и писать: ура!

Итак, в Эйдткунене кнехты и в Вержболове кнехты; в Эйдткунене — господин Гехт, в Вержболове — господин Колупаев; в Эйдткунене нет распределения, но есть накопление; в Вержболове тоже нет распределения, но нет и накопления. Вот в каком положении находятся дела. Однако ж я был бы неправ, если бы скрыл, что на стороне Эйдткунена есть одно важное преимущество, а именно: общее признание, что человеку свойственно человеческое. Допустим, что признание это еще робкое и неполное и что господин Гехт, конечно, употребит все от него зависящее, чтоб не допустить его чрезмерного распростране-

¹ Почему? каким образом?

² с чьей помощью?